

литературное
ОВО
обозрение

№ 39 (1999)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Редакция

Ирина Прохорова (главный редактор)
Сергей Козлов (теория)
Сергей Панов (история)
Татьяна Михайловская (практика)
Абрам Рейтблат (библиография)

Редколлегия

Константин Азадовский (Петербург)
Хенрик Баран (Олбани, Нью-Йорк)
Галина Белая (Москва)
Николай Богомолов (Москва)
Вадим Вацуро (Петербург)
Михаил Гаспаров (Москва)
Борис Дубин (Москва)
Александр Жолковский (Лос-Анджелес)
Андрей Зорин (Москва)
Ларс Клеберг (Стокгольм)
Александр Лавров (Петербург)
Джон Малмстад (Кембридж, Массачусетс)
Александр Ошоват (Москва / Лос-Анджелес)
Омри Ронен (Анн Арбор, Мичиган)
Игорь Смирнов (Констанц / Мюнхен)
Роман Тименчик (Иерусалим)
Евгений Годдес (Рига)
Александр Чудаков (Москва)
Михаил Ямпольский (Нью-Йорк)



МОСКВА

В а д и м К о з о в о й

УЛЫБКА

* * *

Черный бархат тугого июльского неба, где каждая звезда истекает спермой. На земле, на заплыванном камне Парижа — свалка, клекот, лихорадочный вздрог и дыхание такой наготы, что мороз подирает по коже. Тут Жорж Батай встретил Бога.

Почему же грусть? Почему эта грусть перед каменным Богом, нагим, как звезда, истекающим спермой и маточной кровью?

Грусть по невоссоединимому, по навек неслиянному... лишь от тебя, звериная девка, мог бы я причаститься: только от голого камня...

А где-то внизу, в икрах, в коленках — мелкая, как в рассыпчатом море с рассветом, судорожь стыда, зябкая тяжесть воспоминания. Сыреющая, в росе, в ожидании, еще не рожденная, не смеющая родиться земля лунатиков, земля ведьминских гоголевских полетов, окутанная бирюзовой травой и туманными, в которых девственно, капля по капле, не ведая солнца сглаза, струится белесая совесть.

Как показать себя свету, раскоряченным и бесстыжим глазам?

Земля исподней, наружу, правды, расстилающаяся до конца времен; простор и воля, где гложет голос, где ищет он, замирая, посмертного безымянного эха...

Куда высказать слово, затертое льдинами? Оторопь, вздрог и спущенный флаг.

Бегом, бегом в преисподнюю, под своды, лампы метро: чистилище моих «наваждений». Если бы кто-то сказал мне три, семь, двадцать пять лет назад! Что ж, нашаманил, изволь — отвечай. Как сказано было Новалисом: «Всякое слово есть слово заклęcia. Какой дух вызывает, такой и отзывается». Шаманы знают. И ты — отвечай! Перед жгучим и ледяным, голым, бесстыжим, распахнутым, по-кошачьи свернувшимся и неприступным каменным Богом.

* * *

Пушкину не нужен Розанов. Нерваль не заплачет по мальчику Миларепе. В Данииловых снах нет ларца для браслетов Титаника. И уходящий, сжегши книжную пыль, враспах горы Лао-цзы повернулся спиной к Вергилию с присными.

О чем воеет снежная муть по степям, где прошли копыта мамаевы? Видит ли князьби мучные лица, притороченные к черепам лошадей? Перебирает ли, как эмеей ужаленная, могилам обидные письма Чаадаева? Эхом ли вторит стону Украйны, занесенной в якутскую глыбь гэпэушными эшелонами?

Полно! Кричит она без мегафор, вслепую, глухая к тому, что было и есть. Если б еще «кричала»... Но нет у нее горизонта; эта муть — «пуп земли».

Что ж сворачиваться в клубок? Натягивать на голову одеяло? Шептать приворотное слюной и всхлипом, дрыгать по рваным струнам, у которых выколот глаз?

Равнодушен мир. Каждый врозь — безразличен: от кочки к кочке, от люттика к волку, от Лао-цзы к этой обморочной постылой заре и от степной снежной мути к звериным Данииловым снам.

Равнодушен — достаточный в каждой малости и отродясь не слыхавший о «трансцендентностях».

«И тем она сильней своим искусством губит человека...» Природа, Вселенная... ах, избавьте! Ведь и космологические построения вольно или невольно «оперируют» малостями. Солнце Аписа и даже солнце Аустерлица — малость, да только живая внутри и потому бесчувственная вовне: мир! «Расточает от полноты своей». А вот солнце Каббалы, Плотина, Гегеля — что оно такое? «Звено в цепи»... т.е. звук пуст, в глаза дым. Увольте!

Пушкин — весь мир. Титаник — весь мир. Всякий браслет, прутик, тряпочка — весь мир без изъятия, под своим именем... где искать это имя? Ты ли найдешь верное слово? Но для этого надо стать чужим эхом; безымяннее тебя нет. Именующий: кто тебя назовет? «Тебе ж нет отзыва...» А если безответно, если ничто на боль не откликнется...

* * *

Потом лейтенант оглянулся на ражий, безутлый в потемках дом и, плюнув с досады в черемуху, сказал: «Феня, больше меня не ищи».

Через час с четвертью он дул чай в Тюмени.

* * *

Жизни учит жизнь, а не уроки о жизни. Достаточно сравнить Пастернака 1917-го — и 1956-го, который виден уже в бытовом «эпосе» 1930 года. Толстой, хотя по-человечески и сродни, махнул бы рукой.

* * *

Слово, которое торчком к заоблачным выстаивает и тогда, когда люди, его затеплившие, вымирают, как мухи в ледяной мор, — это самое слово трепещется загода, повествуя глухим, сытым и занятым о дальней гибели. Ибо иная слышится ему смерть.

О чем сказал и о чем, разучившись говорить, смолк и осекся Рембо? Куда неся на всех парах русский «сказ», костром взвинченный в самовитое слово? Куда, на какой перекресток ронял тяжелые саксонские валуны задыхавшийся Хопкинс, и не повстречал ли он сам петляющего на месте в каменную бесконечность Кафку?

Удивительная произошла «потеря»! Говоря языком лингвистов, означенное в словесном знаке лишилось не только означаемого, но и простейшего денотата. То есть, говоря языком любви, слово лишилось своего «предмета», приобретая на безлюбье невесомость почти мистическую, но снадаемое тоской и потребностью любить хотя б и «не по-человечески», наполнялось у самых чутких твердостью вертикальной и спиральной, куда человеку и его «чувствиям» вход закрыт. Быть может, к иному обращалось оно человеку, к иному «предмету», скованному под распахнутыми небесными немотой Колымы? О том не сказать и подумать страшно. Травинки да горы могли бы ответить; они — в той немоте.

Именно так, по-катастрофически, прочитан должен быть и Пастернак. Именно тут споткнулся молодой Гофмансталь, но без меланхолии назвав свой промах в «Письме лорду Чандосу». На этом-то негладком месте захлебнулся — во весь голос, лбом об стену! — «громокипящий» цыпленок Маяковский, и, что скрывать, еще и словечка не произнес и не взвесив, накинула себе петлю на шею упрямыцы Цветаева. Ни горе, ни травинке нет дела до ее «излиятельной» дерзости. Не на том молчат они языке.

* * *

М.Ц.

Ты просила кнута для своих плеч, а дождалась веревки себе на шею. Отпевающий тебя равен твоему злосчастию.

Тебя укоряющий не стоит обертки, в которую тебя уложили, чтобы захоронить печатно на лобном беспамятном месте.

Но и понимающий — что может он в тебе расслышать, кроме трубного, с дымовой башни, окаянства? Твои гордецкие слова наотрез непосильны для плачущих, и нет у них для обмирающих заветной пятиструнной.

Поседевшее по кровинкам время выбрало из твоего былья уголь обгорелый и загнало его в холм скелетный, не признав твоей хлыстом погоняемой души.

Просит жить твое сердце и не ждет ответа.

Давит!

Ни моря с пеной, ни горы ровень, ни стыжего листика с рябиновой ветки.

Но есть у тебя имя.

Есть по имени знамя... и ничего кроме.

* * *

Замечаю вдруг, что — волею ли обстоятельств, под тяжестью ли неподъемных туч или просто «по наущению» адресата — вырисовывается в моих письмах личность угрюмая и до неприличия сурьезная. Шутку-то в письмо вставить нетрудно, особенно лютую и бритвенную, да как проскользнуть в нем бессмысленной, почти идиотической улыбке, которая после одоления, *после* слез и смеха сквозь слезы, вырывается невесть откуда и плывет по воздуху неведомо куда, не твоя, не моя и не дядина, — мятым облачком, колечиком неслышным пронизывая крепь и твердь мировую, смыывая застойные очертания, распредмечивая постылое. выпрямляя себе навстречу погиблое?

Редко встретишь эту улыбку в гуще латинской расы.

Ту, что видел, когда провожал меня, стоя в дверях, М.: все вокруг черно-белое, а улыбка — в цвете. Беспричинная, от «полноты понимания». А понимает-то она — что? Да ничего. Нет у нее «предмета», и смех ей не брат.

То-то дивятся французы Селину: редкая, право, птица в их литературном *сурьезе*... это вам не шуты площадные под гогот кретинон, не бледно-зеленый оскал Шарля Кро и Лафорга, не панический (вот уж не рассмеешься!) хохот Жоржа Батая... смех воистину! багровый, вздерганный, ключьями — земля трясется! а в этом смехе — и смех над собой (сухой, без слезы, но не без жалобы, не без уязвленности и брызга слюной — что ж...): тут уже — первый шаг к «распредмечиванью» — только первый... далеко до улыбки! Как и у Лотреамона, еще одного чудовища во французской литературной истории: он бы мог улыбнуться; «мог» — не успел.

И Мишо-то — француз никакой, улыбке знающий цену («в цвете») — а и его смешок («Чужеземье») норовит то и дело лезвием полоснуть: берегись!

Где тут граница? На каком гребне смеха возникает улыбка без имени (не путать ее с балагурством)? «Черный юмор» или «огненно-красный» сверк Лескова, дубина Хармса или безобразия Ремизова: улыбка — «за строчкой», когда, ослепнув, вытираешь от смеха слезу. От смеха? Или от жалости (самой свирепой)? Поди угадай! Избыточно русское слово, а в избыточности — неусидчиво: за смыслом погонишься — и заблудился как в дремучем лесу. Петляет в кустах огонечком, что-то под нос бормочет, смеется... молчок!

Смеху «морда» нужна, «рыло» и «харя» вещей; слово, тут прежде всего фонетично; время же — сгусток и «комоч нервов»... какое предсказано в древнем апокрифе: «Времена будут протекать спешно».

А улыбке-то спешить некуда: ей — воля, мир, полетная гладь. Колечико-облачком — и без лица, как у Кэрролла. Зазеркальная тишина.

Тот самый «злючка» Толстой, который дразнил беднягу Тургенева: «Что вы все трясете либеральными ляжками?» — неужто он испарился в учи-

тельстве, «мыслях мудрых людей», в нудном поминании Генри Джорджа? Благородность «задачи» и мысль «всерьез»...

Читаю в дневнике Маковицкого (1909, февраль):

«Л. Н.: Сегодня ни одного интересного письма. Один одновременно просит — «книгу Евангелие» и «леволвер», добавляя: «Буду вечно благодарен».

Чепухенция? Может быть. А во мне неслышно смешок пробегает, и так — улыбочиво! — всякий раз, когда иглами колется Толстой-спорщик, беспощадный к себе, но и редко «согласный», свирепый и снедаемый жалостью, прямолинейный и всегда непредвиденный, «плясун» до последней минуты («Если бы не был писателем, был бы танцором». Если бы?..). О чем угодно: уозуть и скука национализма, даже самого «праведного» (о Ганди: «У него все прекрасно, исключая патриотизм индийский, который все портит»); несимпатичность «интеллигента» («Интеллигенция — это презренная клика, которой через несколько десятилетий и помину не будет»), но и недоумение (у него-то!) перед словом «народ»; *крест* на Европе («Помоему, европейский мир кончился, должны прийти другие народы, варвары»); отвращение к литературе, к сюжетному и «художественному» описательству (о Достоевском, за двадцать дней до смерти: «Швыряет, как попало, самые серьезные вопросы, перемешивая их с романтическими. Помоему, времена романов прошли. Описывать, «как распустила волосы...»); жульничество государственно-полицейское (Азефа бы «сделать государем»), но и — многим ли лучше? — политиканское обличительство (Бирюкову: «Перестаньте бранить правительство! Когда перестанем? Это такой триумф...»); трезвость — но и безбоязненность в разгар революции (1905 год, дочке Татьяне, которой в такое время страшно рожать: «Если родится мальчик, назвать Бунт; если девочка — Революцией Михайловной»; тут прямо ахнешь!); единый налог Генри Джорджа — но и несогласие со «всеобщей повинностью» работать (только ли на земле? «Сделать труд обязательным, священным нельзя. Это было бы рабство». И снова ахнешь!); недоверие к «очень» любящим («Она любит частицу меня. Она из тех, которые разрывают меня по частицам»); постоянный «наперекор» против провального психоза и массовой психологии («Кто-то сказал: «Казаки все — дурные люди». А студенты — хорошие»); такое же сопровитвление «категорическим» характеристикам (услышав о Тенишеве, что он глуп — в ответ: «Все умные, все глупые. Я не знаю, кто умный, кто глупый»); *недовершенство* науки и ее инструментов («Микроскоп увеличивает во сто раз, а что будет видно, если будет увеличение в тысячу раз и так далее? Да и мы смотрим через инструмент — глаз; могут быть разные глаза. Все исследование материи — исследование наших представлений... от Шопенгауэра? а быть может, и Нильс Бор не отмахнулся бы?); преимущество тюремного испытания и тюремных размышлений («В тюрьме сидеть или ходить в Петербурге обедать — никакого сравнения, последнее, несомненно, хуже»); «понимание» — без кавычек — мусульманского многоженства («Что же, много жен. У нас мало ли?»); полное безразличие к своим прошлым писаниям во имя того, что любит сегодня (о «Севастопольских рассказах»: «Как это глупо! Какая это гадость! Кто это читает? Верно, никто не читает. С одной стороны, какой-то юмор, с другой — какой-то патриотизм»; или: «Мои все сочинения не имеют одной десятой силы, что эти три странички Баллу. Баллу остался неизвестен, а я, благодаря рекламе...»); и все это — как часто! — себя же оспаривая, себе же противореча; и постоянное, за улыбочкой невидимой, «оставьте меня в покое», потому что (уже в бреде перед смертью) «надо удирать, надо удирать куда-нибудь».

«Прав» Толстой? Или «неправ»? Кому какое собачье дело! Права улыбка из-под «сурьеза», тот ошеломительный релятивизм «живого до конца», который призывает нас не смотреть «на одного Льва».

Пробегаёт смешок, холодея... Замечала ли ты (не один ведь я такой монстр), как ознобом улыбчивым обозначается в нас тишина при той или иной сонатной ноте Моцарта, скрипичной — Берга (отнюдь не «веселой»), как выскальзывает (кому? куда?) хохоток над письмами Пушкина или (что в ней «смешного?») строчкой Батюшкова? Какое зияние! И какой холод! Не мороз, нет, не «кровь леденеет», а негаданный холодок, каждый градус которого десятикратно, стократно отзывается в теле. Весь Шекспир — сквозь нас — им усеян, при его-то *страстях!* «Злючка» Гамлет с его *барочными* сальностями в адрес Офелии (чья тут улыбка?)... В «жарко-холодно» с маревом мира играет колечико-облачко.

Не будь марева, зачем бы стал я писать эти письма? Не будь игры, не будь этой «смены температур», мышца не двинулась бы под камнем Сицифа.

О том, думалось, когда смотрел «передачу» (слаб человек!) про «Гога и Магога» (знаешь ведь, как люблю эту книгу). Монотонные, без интонации, «свидетели» и «комментаторы» — что им до Бубера и его хасидов? — навоят дремоту. Как вдруг: в огромном, едва ли не оперном зале, тесно выстроившись рядами, держа друг друга за плечи (не «хваткой», а легким, чуть-чуть, касанием), бородастая молодежь в котелках (где тут «возраст?») поет и пляшет — и «поддаются», поют, пританцовывают на эстраде седобородые старцы. Это она — искра. Как исподволь расцветает и как серьезна еврейская, «из-под Иова» тысячелетий, улыбка! (У предсмертного, к ясновидению прозревшего Розанова — уподобление русской и еврейской *интимности*: «Только русский есть пьяный задушевный человек, а еврей есть трезвый задушевный человек».)

Казалось бы, далеко Миларепа с единоверцами и «первоначальным Буддой»... не ближе, разумеется (а впрочем, какие тут «времена-расстояния?»), и по-собачьи разинутый беззвучный (на амфорах) греческий смех, и сморщенные в печеное яблочко лукавые китаезы, и помеченная уголками губ улыбка Гизе и Амарны... да и что между ними общего? И улыбкато улыбке рознь.

Только рознь, быть может, в «откуда», во «сквозь», в «тяжести» взгляда и мышцы, в «продирании» слова, даже смеха и слез — а не там, в лете-чем «куда», где переключаясь безвозрастно и сливаясь в одно, плуτούν колечики-облачки.

В том ли дело, что и китайские будхисатвы знавали *складку* египетскую? То ли важно, что и *обличьем* Толстой до престранности «напоминает» Сократа? Легко обмануться... Но если вспомнить не шатающегося по улицам вопрошателя и не правдоискательство *из-под* иронической шутки, а «шутку» последнюю, сказанное друзьям над цыкутой, тут, право, и Ницше, ненавидящий лютю «ублюдка» и «выродка», целиком растворяется в короткой (Жорж Батай любил ее) фразе: «Но оставим здесь г-на Ницше». Оставим же и «поэта Гельдерлина», который (не улыбнешься?) спрятался в Скарданелли. Оставим, стало быть, и «Льва Толстого», раз уж он просит нас в смертный миг: «Только одно советую помнить, что на свете много людей, кроме Льва...» и раз уж бормочет в агонии: «Пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал».

Их интонация? Очень просто. Сам себе, о своем конце: «И прощай, Мишо».

Куда, в «какую сторону» обращена улыбка? Разве смерти, а не жизни живой, *поименной* улыбаются эти евреи? Они-то, которые не только «взвели» тяжесть слезы, но и умеют навзрыд и в крик, во всю мокрую глотку, вплоть до престола Всевышнего... Не с ними ль и впрямь (Апис — «для красоты») и *рукотисный* шепотун («После книгопечатания любовь стала невозможной») Розанов? Не он ли, кто хочет не истины, а покоя, кому не-

навиствен «сатира» а нужна только жалость («Звезды жалеют ли? Мать — жалеет: и да будет она выше звезд»), кто охает, скорбит и плачет, жадный до *утешения*, — не он ли открыт, как никто, веселью («Кто не любит человека в радости его — не любит и ни в чем»), выделявая («ширь да удал») колена, без конца и стыда себе противореча, верный в этом не «мертвым канонам», а всякой на свете «малости»? Не потому ли страшит его «темный лик», «люди лунного света», что даже (именно!) среди апокалипсиса (помнишь ли? «Представление окончилось» — «Пора одевать шубы и возвращаться домой» — «Но ни шуб, ни домов не оказалось»), прося на кашку и собирая окурки, улыбнуться он хочет «солнышку»?

Прав ли, забыл ли («до Гутенберга») Франциска с «цветочками», не прогледел ли улыбку Рублева (как спеленутая, маячит сквозь «Троицу») — опять же: не наше собачье дело.

Нет, не только «в какую сторону» (вовне, миру или внутрь, прочь), но и «кто кому»: смерть жизни или жизнь смерти? «Лицо» — пограничье; легко обмануться... верить ли его словам? «Жить смертью и умереть жизнью». Вот и сумрачный Гераклит, с глазами, вечно полными слез, — не играл ли он с детшками в кости и не посмеялся ли наконец втихомолку (а если нет, то мы за него), окончательно спрятавшись от людей под навозом (пока не загрызли *псы*)?

Играть словами не нужно, но если взглядеться *идиотически* в их игру...

Однажды Крученных, заранее торжествуя, мне задал загадку: «Как назвать противоположное выпуклому?» И откуда я тужился, ища подвоха, с ликованием выпалил: «ВПУКЛОЕ!»

В никакую сторону и никто никому... «распредмечиванье» (с нами вместе) и «смена температур».

Легко сказать... но лицо! ведь только оно зияет улыбкой, которая и порхает-то только с него! О, идолочители «поэтических текстов», святотлостители их «анонимности»! Ваша правда (грешен и сам), а не лежит к вам сердце. Правда-то куца! Ведь не «даром» не «по ошибке природы» достались нам не только «посмертные» (целиком или в клочках) Паскаль и «Замок», Аввакум и Рембо, тоголевские письма и Хлебников; ведь и они-то, и добредшие из «тьмы веков» «Повесть о двух братьях» или «И Цзин» не шелохнулись бы в энциклопедиях без *воплощенной* легенды, без нашего личного *выбора*. Ведь не только «именоносные» Заратустра и Эмпедокл, но и скромненькие, насквозь безымянные «песни Киреевского» преломляются голосом в каждой пылинке, где сквозит еще («хоть смейся, хоть плачь») чье-то глазастое, непрожитое и по сей день. Соберем по пылинкам и пылинке поклонимся; отмахиваться-то стали горазды! Только б не мертвый сор, да не венником в кучу: метут, намели профессора кислых щей... экий холм! не до смеха им и над «вымыслом» не обольются слезами. (Кроме редчайших «запойных» периодов, я, признаться, впрок и сплошь читать никогда не умел; «начитанности» — и в помине, а именами сыплю лишь по любви и чтоб «мысли просторно»; в минуты горячие, когда в ритм слова искал, все почитывал да поклеивал — сотнями! без порядку, вразброс, как душа и рука подскажут. Тут и «добрые профессора» в подмогу. Им — спасибо!)

Легенда — не «биография» и даже не «жизнь поэта» по рецептам романтиков; в их иронии, кстати, капризный, «по воле личности», смех, тогда как в легенде («текст» в полную ширь, по развертывающейся спирали) улыбка *невольная* — кому и чья? — потому что лицо в этот *вытавший*, в единственный миг, когда вот-вот оно испарится, растает по высшим законам *sfumato*, не «узилище в мире», а сам «мир нараспашку».

Отложив свою бритву, без затей повестует Мишо:

На пути к Смерти
 Моя мать повстречала огромный торос;
 Шевельнула губами,
 Но было поздно;
 Огромный ватный торос.

Она посмотрела на меня с братом
 И заплакала.
 Мы сказали ей — вот уж дурацкая ложь, —
 Что нам, дескать, понятно.
 И она улыбнулась так мило, по-девичьи,
 Вся в улыбке, такой
 Прелестной улыбкой, почти шаловливой;
 Потом ее скрыла Тьма.

Что ж тут, право, еще добавить? Говорю «повествуем», потому что — «Легендарное» (наготой текстуальной, а не в романтических испарениях); пример, может быть, крайний, простейший, слишком близок к простонародному восприятию («быль», а не «сказка»), да деться-то некуда; хотите вы или нет и как бы ни «разворачивалось» вовне по спирали: «моя мать». Не будь личного (но чье это «я?»), не будь пережитого («претворенного» словом) — что ж тут особенного? Ознобом не проберет... Улыбка молодости (без возраста?) на *этом* лице и обращена (пониманием!) к *этим* детям, в их недоуменную темную даль. К ним ли только? К человеку ли, к распоследнему миру «вокруг»? Или, быть может (то-то и слезы, сквозь слезы), к ватному тоже торосу? Потому что ведь и сама «наша» смерть («моя», «ее», «твоя»... лингвистически «парадоксально» только извне, для вынужденных лгать перед Тьмой) — личная, неповторимая, а главное, невольная участница рокового События... Ах, все эти Бальдунги Грины — кто из нас не поддавался аллегорической меланхолии, сумрачной сказке их *memento mori*? — до чего же они, вслепую, из века в век, «очернили», «обидели», «окариковали» смерть! Кто знает жизнь *рискованную*, кто видел гибель *наотмашь* массовую, быстро преодолевает эту каменную меланхолическую минуту. Вдумайся хорошенько! Когда Толстой без конца упорно возражает — мол, тот или этот умер от такой-то болезни: «Да нет же, умер от смерти», — точный взгляд его, может представиться, не столь уж далек от Бальдунга Грины, а вернее, от Екклезиаста (или от стойков, его любимых Эпиктета, Марка Аврелия). Взгляд на прожитое и на скудную его меру, которая рассыпается по пылинкам. Только смерть-то (с маленькой буквы!) при чем? Но если тот же трезвомысленный взгляд обратиться к «торосу» и «сквозь»; если отвлечься (уж *она* отвлечет!) от моралистической, по линейке оглядки — с ней-то, с самим собой как раз и спорит Толстой; если одной с ним жалостью сердца вспомнить, что «многие» — несть им числа! — умерли смертью, да не «от смерти», не от косяковой злодейской карги; если, наконец, найти в эту щелочку первое различие, за которым ведь должны последовать мириады, сколько есть, было и будет живого (Хлебников: «Он был настолько ребенок, что полагал, что после пяти стоит шесть, а после шести — семь. Он осмеливался даже думать, что вообще там, где мы имеем одно и еще одно, там мы имеем и три, и пять, и семь, и бесконечность...»), — если зримо, наглядно сложить эти «если», не покажется ли вдруг, что улыбка матери на пути к смерти — ответная (*заразителен* смех, но непостижимо *передается* улыбка) и что слетела она в эту складку лица (долетев и до нас; без лица; пронзив колечком-облачком) оттуда, где все наяву, ни вне, ни внутри, где смерть, мир и любовь связаны нерасторжимо? Только *видим* мы их «на дорогах жизни»

порознь и по-разному. И вот здесь, на последней тропе, пока не скрыла Тьма, — кто ж тут увиден? Ответь нам, улыбка! Ответь на эту «выпавшую», в роковую, рискованную — другой не будет — минуту!

Велимир ли подскажет? Этой вот строчкой:

Смелые уста смерть протянула целующая...

Или напомнить тебе «мое собственное» — как увидел ее, свою, обжигающим взглядом?

*...но стояла простоволосая под окошком в смущении
и босая с улыбкой блуждающей в детской травке...*

А еще лучше сравнить два видения Кранаха — «Адам и Ева», картины, разделенные (и искал он всю жизнь!) лишь двухлетним интервалом (1531, 1533). Вот уж действительно роковая, рискованная минута! Ждем яблочко (ни вне, ни внутри) — а в нем-то как раз, точно в зелье Тристана (до чего там пронзительно у Беруля!), жизнь, любовь и смерть слились неразделимо. Тут бы — просится! — и пропеть: «Эх, яблочко, куда ты котишься?» (ведь уже «покатилось», уже отведала Ева...) — а если не поется, опять вспомнить к месту Гераклитово: «Жить смертью и умереть жизнью». (Гераклитово ли? А может, и «дикарь» не дурак? У Маковицкого нахожу о Толстом: «Понравилось ему у готтентотов сравнение жизни людской с мясцем: живи, как будто умираешь, умирай, как будто живешь...»)

Что же изменилось в новом видении Кранаха по сравнению с предшествующим, «мохнатым», угрюмым и сумрачным, где *дисимметрично* застыла вне времени мерцающая из тьмы, вокруг женской сказочной белизны, меланхолия? Неба прибавилось, и земля выглянула, а растительность «приспособилась» контуром к человеческим фигурам. Посветлело. Легче, свободней стоят голышом, и веточка целомудрия в ладони Адама что-то вовсе нецеломудренно тычется листьями в «самое-самое» Евина молочного тела. Виден на яблочке (тут Кранах точен всегда) след женских зубов; очередь за Адамом... вот-вот узнают, что оба *наги* (теперь смовка — «прикрыть» двоим; опять точен Кранах), и будет не человек, а люди, не зверь, а зверье, не сень Эдема, а время мира... Будет? Есть! Выбор сделан... вот-вот свершится! И в этот-то миг — что ж появляется в новом видении? Улыбка! Улыбается Ева, робко пытается улыбнуться Адам, улыбкивы (сравни с предыдущими!) *пристальные* морды оленя и льва, и даже змий, как умеет в силу породы (злорадно? или злополучно?) ослабилась в странной улыбке-ухмылке. А приглядеться — и само «дерево добра и зла», куда раскидистой и привольней улыбается трещинкой тугого ствола и развилкой веток. (Так и *центрировано*: композиционно и во времени-ожидания.) В раю ведь, должно быть, «не жарко, ни холодно», а тут — «смена температур». Именно *смена* (вдуматься надо), а не резкий, как говорят, *перепад*. Маревое мира едва забрезжило, и улыбка — чуть-чуть, в самый раз, как блуждающая у ребенка во сне: сколько я наблюдал ее, зачарованный, и почти стекленел, обмирая, не в силах понять! Не туда ли она улетает, не в этот ли изначальный миг? Миг смертный, живой: изначальный — последний! Спящий младенец... откуда в нем это знание (понимание?) мира, жизни, любви и смерти? Без них ведь улыбке не обойтись. И вот точно такую вижу (три дня не могу оторваться от книги: «Искусство древней Японии» Елисеевых) на лице у японско-корейского Мирокко-Босацу (*грядущий Будда*) из Нары... странное дело! Ведь для любого буддиста, независимо от бесчисленных «школ», Эдем просто немислим: ни сотворения нет, ни падения, а стало быть, и никакой ностальгии. «Нужен» ли буддисту мир? Даже тибетскому, который знает, что и видимость не обман? Если и мыслится рай, если видится грядущий Будда, то это рай *обретаемый* и — все кармы, все слезы насквозь, через *познание* зла, к пробуждению, —

не преображающий прошлое-прожитое, а начисто его лишенный. И как перед улыбкой младенца во сне, опять стекленеешь, недоумевая: откуда же донеслась и осела на лице у Мироко-Босацу *такая* улыбка? Куда ею *весь*, «до ногтей», переливается? Распредмеченность — это как мед для буддиста; но что же еще *там* распределять? Без «кто», без «кому»... Ведь нет больше мира, смерти и боли... нет и любви?

Еще раз: не нужно играть словами (наигрались и доигрались в прах!), а лучше всего — на минуту без них обойтись. Просто-напросто: вместо недоумений *поверить* лицу и *довериться* его улыбке, которая, подобно всаднику, «держится» в двух стременах, с двух сторон. Приадуемаешься или нет, сочтешь, быть может, что в разлуке свихнулся, но из тьмы моей нынешней, склоняясь как прежде над детской кроваткой, вижу вдруг ясно у нашего спящего мальчика не только радость без имени, овевающую улыбкой лицо, но и — в той же улыбке — безмерную жалость, и какую-нибудь *слонявую*, а которой сродни озадачивающая, «беспричинно-свирепая» и «тотальная», восемь веков назад, в холодном Тибете, жалость странного учителя Миларепы. А чтобы стало доступней, чтобы обозначилось «стремля», вспомню, как вынес А. из родильного дома под небо зимней Москвы. Мороз был чуть ниже нуля, день усталый и млеющий; снег витал во дворе туманным безмыслием; слепой воздух пошатывало от дыхания... и при первом же взгляде в рыхлое, близкое, бровасто нависшее небо (или мне померещилось? новорожденные не видят? так я и поверил!) на лице у спеленутой куклы, по вискам к переносице, уголками стянутых губ, появилось такое серьезное, беззащитное выражение муки и ужаса, что жизнь моя под этим взглядом раскололась надвое — и, должно быть, его унесу в гробовой каюк.

Надо ли договаривать?.. Делать «выводы»? Знаю, что скажет психоанализ; наперед слышу его «толкования». Только в терминах ли нуждаюсь? «Оральное»... ну, пускай... а лицо? Улыбка первичней наименований; в опросниках ее имя не значится.

Сколько слов наговорено об *отрешенной* улыбке кхмерских каменных ликов; но к миру-то, и в глуши запустения, и сквозь вьетнамскую канонаду, *обращены* они именно этим зиянием: во *впуклой* улыбке Ангкора тонет столетьями выпуклость мира. В его озерах...

Леонардова (не столько даже Джоконда, сколько Иоанн Креститель, безвозвратность воплощена в андрогина) — какая-то змеиная, двоящаяся, натужная, «злополучная», в силу «натуры», «породы»... порой замечаешь такую и у нашего Николая Васильевича («Сгинь, нечистый!» — шептал ему, пока не опомнился, Розанов; а чего только не нагородил Мережковский!)... но нет ничего подвижней лица, а в лице — глаз и улыбки... чуть *дымка* спадет, чуть губа приподнимется, и видим мы на гоголевском лице, посерьезневшем, без подковырки, страдальческом («Дом ли мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном?»), то самое улыбающееся *поневоле* выражение (загадочное лишь для любителей загадок), которое встречали на востоке дальнем, на востоке южном и, кто знает, быть может, у итальянской женщины, на минуту, на добрую тысячу лет позабывшей о своем лукавом «создателе»...

Улыбка невольная... «светлый светляк»: тавтология! Нет, ее не натянешь, как шляпу. А если натягивают — на маску, лицо ни при чем. Китаец улыбчив (был?) — на всякий пожарный случай; прячется, плут, готовый — в пружину (но не злонамеренно; главное — «сохранить лицо»!). Турист японский — этот «из вежливости», себе цену и место знает (затем и *маска* на людях, чтобы за ней оставаться собой; премудрость буддизма, терпимость к земному «театру»... только не путать с Мироко-Босацу). Но это еще куда ни шло; пожалуй, и не без приятности... А вот «деятели» по-

литические и, пуще того, государственные — у всех и каждого в наш век на виду, — эти и вовсе «погрязли», «закоснели» в именитых улыбках. Непременнейшая обязанность! Кто видел однажды *служебную* — с блеском (зубов), да наперекос — улыбку *по имени* Никсона, вряд ли ее забудет, махнув равнодушно рукой. Так ли страшен, однако? Нет ли похлеще? Уж он-то хоть, выборный, поначалу надел ее «перед народом» (а наклеенную — не содрать). Тоже отчасти волей-неволей: любишь *имя носить* («кататься»), полюби и улыбку («саночки»). Именную... отчего ж не любить? В планетарной комедии стало тесно подмосткам; персонажи, статисты — не разберешь! Поторапливайся же, пока Мейерхольд не нагрязнул, пока палочкой не махнул Просперо... Ну, а со стороны *невыборной*, где не занавес, а дымовая завеса (ни опустить, ни поднять)? Далеко ли ушел А.А. Громыко, четверть века отметивший (якобы?), из столицы в столицу, «на верхах» и с трибуны, неизменной, как шрам, натянутой криво ухмылочкой? Не дано? Не проникнуть улыбке в двуногое марево? Если б так просто... Но вот об Иосифе Сталине прославленный дипломат (и поэт — не какой-нибудь, Нобелевский...), перевидавший на своем веку немало диктаторов, благодушно свидетельствует, что из всех них один только И.В.С. обладал «чувством юмора» и умел улыбаться. Тут бы вспомнить его любовь к «живым сценам»: как *посмешил* его придворный шут-брадобрей Паузер изображая в лицах последние минуты Зиновьева — когда под ручки вели его в подвал из камеры (пуля в затылок), когда он упирался отчаянно и взмолился, *воинствующий атеист*, «еврейскому Богу». Потеха! Любил эдакое, но ведь и не только читал Щедрина (что ж, сатира...): улыбался над Гоголем! (*Как?* Вот вопрос!) Улыбался *по-своему* и с Мавзолеем: непренемнейшая именная обязанность!.. О, эти, под шляпами, фуражками, шапками, посменно-скелетные улыбки *с трибуны!*..

Никсон улыбается Брежневу, Брежнев улыбается Никсону и Дубчеку, простодушный Дубчек улыбается вверившимся ему согражданам...

Тонет в призрачностях лютый век, то-то по-новому расцвело манихейство (и буддизм неопитами упрощен еще в пару); у меня тоже вырвалось: «Проходи сквозь!» Но легко сказать... легко власть в гностическое «всеотрицательство»... Зато жалость *тотальная* ни пощады не знает, ни меры. Не сквозит ли и в этом — именно в нем! — ледяном и гротескном улыбочном хороводе какое-то вещее доказательство от противного? *Губа* не обманет: улыбка кривая, натянутая, ироническая, злодейская, ядовитая, каменная, безнадежная, выжидательная, доверчивая, стыдливая, робкая, ласковая или «рот до ушей»... где *настоящая*? Выжившие после Мордовии, Караганды, Колымы, Соловков, после гитлеровских лагерей — способны ли в тесном кругу (не «для публики») ворошить и перебирать былье, не прибегая к *побочному*, к беспощадно-комическому, не просветляясь улыбкой, за которой зубастым ножом стоит в горле по-нынешнее, по гроб молчание «вечной мерзлоты» неба?

Был у нас в лагере славный малый — лет двадцати, не больше — Вася Чайкин. Худошавый и маленький, чужак и молчун, как-то раз, для всех неожиданно, он в *колонне* (вели на работу) схватил по дороге бревно и звезданул по башке надоедливому горлопану (шустрый, жилистый, усы рыжие, пошевченковски), откровенного стукача Гречуху. История! Но я не о том... Вася Чайкин имел странный обychай. Стоим где-нибудь в зоне вдвоем, втроем, болтаем о низких и высоких материях... подойдет Вся, вслушивается *бочком*, поймет с полуслова — и, махнув рукой, улыбочкой *хмыкнув*, побредет дальше, в невесть куда, покачивая головой... что уж тут толковать!

Угадал Вася Чайкин, не мудрствуя, то, что нам, лопухам серьезным (а смеялись, однако, всласть!), и не снилось, и не мерещилось. Что ж увиде-

лось мне теперь в «доказательстве от противного»? Без натяжки, просто, «по-Васиному»...

Когда мир стал и впрямь тесен (человеку *от* человека), когда нет больше в нем, по словам Валери, «белых пятен» (заполнено *массой*), ошалевшему взгляду непросто — поспевай *отмечать!* — за калейдоскопом «шапочных встреч» различить обнажившуюся донага тайну. Только «одетое и обутое», да еще с нахлобученной «шляпой»: сплошные наименования... Хочется встретить неизвестное? Пожалуйста, вот вам «летающие тарелки»! Где уж тут уследить за *невидным* колечиком-облачком... А между тем, быть может, это единственный, после вавилонского краха, *язык*, через тысячелетия, по всем морщинам земли, доступный любому и каждому, чтобы другого понимать. Лицо, а не «личность», смена, а не «перепад», поименное до последней дыры, а не «полное имя и отчество».

Как серьезные, почти торжественны русские имена (даже «Иван Иванович Иванов»), и чего только мы с ними не вытворим! Уменьшительные — несть им числа, с тысячько сложных, в суффиксах, интонаций... имена без отчеств, отчества без имен... беспшашные усечения... ирония, самоирония: имя — резина. Кому на другом языке передашь? Нет, это вам не джойсовский Блум (еврей — «как все») и даже не Стивен Дедалус с приборудкой, заблудшей античной кличкой. «Смены» нет; есть наклейка или этикетка. «В потрохах» не сидит. «Холодком» не пахнет. Не то что у Гоголя... как *играет* (все смыслы — прямые) неповторимый *букет* в «Игроках»: Ихарев, Кругель, Швохнев, Утешительный, Глов! Кто тут тотчас не улыбнется, ни черта в Гоголе не разглядел, не расслышал. То же самое: Вася Чайкин и — Гречуха (*когда-то*, должно быть, звучало подобно: «Давид и Голиаф»). В чем причина? Ведь имена (фамилии!), да и только, ничего в них не переименовано... Столкнувшись с такой закавыкой, почешет затылок и самый завзятый (все тот же Джойс) сторонник «всепереводимости». Пройдут оговорки (немаловажные): мол, реальность, культура и мир в любом языке «закодированы», ищите, дескать, подходящий ключ... В корнесловии ли русском дело? Думаю, не так-то просто. Оба «стремени» необходимы улыбке, а уж «седло»-то найдется.

Не дока я в лингвистике (хотя через поэзию кое-что *пережил* сполна), от обобщений чрезмерных я воздержусь; знаю тоже, что «философия имени» не вчера родилась, и не только у греков. И все-таки: по сравнению со знакомыми мне европейскими языками «вечный переполох» в имясловии русском прямо-таки ошарашивает. Кому передашь? А ведь какая градация улыбок — видимых и незримых, вечером в приятной компании или сам с собой, в никуда... Само имя, без суффиксов, голой фонетикой, слышен корень или в помине... самое дикое, «несоответствующее» сочетание имени и фамилии... или имени и «фигуры», положения, ситуации... или их несоответственно-внезапное «соответствие»... Знаем мы, должно быть, кое-что про свою несообразность... другие, что ли, сообразней? Несут имя свое на подносе и ставят его во главу угла, как бюст Гете на парадный столик. Рассказывал тебе об одном прославленном (каких теперь нет) и несколько подзабытом (не без причины): вот так сюрприз! Пышет силищей львиной, а имя свое до старости принес без тени улыбки; и не стало у «львиности» центра, управлять ею не умеет: чисто чистой породы, в повадке, в речах, жалкая помесь Опискина и Собакевича. То ли дело (и без «иерархии ценностей») наш первобытнейший Лев, который больше всего любил письма, адресованные «Толстову», а дочке Татьяне однажды сказал: «Если бы я еще женился, я бы назвал своих сыновей самыми мужицкими именами: Онуфрий, Ермил; хорошее имя Тарас». Вообрази-ка: Ермил Толстой! Онуфрий Толстой! Тарас Толстой! Обхохочешься... или, того лучше, до ушей и от чистого сердца улыбнешься. А придумаются: *куръез* ведь не

только, да, может быть, и не столько в несоответствии социальном... поди объясни и втолкуй чужаку, даже русскоязычному, всю жизнь проведенную вне «российской действительности»! Каковая действительность, вопреки очевидностям, на месте стоять не хочет, а уж язык (еще скажется его *тайная биография*) и подавно...

Человек без имени — пропащий человек: голый, как тумба, и, как памятник, застигнутый. Что же выделяют Гоголь, подчас Лесков и напропалую («обнажение приема») Хармс? Присобачив «герою» непостижимое или стершееся до неупотребления имя-кличку, они лишают его именования и вообще «всякой причины». Это не этикетка. Это — единственное, что у человека остается и за что он цепляется: единственный в нем «корень» и одновременно единственный «приличный мундир». Так ему кажется. А на самом деле этого голого и застигнутого наши авторы приводят в несообразнейшее (силой имени-клички) движение, которое только и соответствует «действительности», потерявшей всякое имя. Чисто ли русский здесь механизм? Судить не берусь; но если и так, открывается в нем общечеловеческое. Зато слепы к нему там, где нет больше у имени ни дна, ни выворота. А нам смешно. Улыбаемся. Чему смешно? «Над собой смеется». Но нет, не смеется, только рот ползет без удержу, без причины, без того злосчастного «кудахтанья», которое раз навсегда, в «песне четвертой», пригвоздил Лотреамон.

Без удержу и без пощады... Такова воистину русская жалость. Без пощады к «мордасам» мира, без пощады к себе самому. Нелегко человеку выдержать... Вспомню тут П.П. Сувчинского («Петром Петровичем не называть... Петр Петрович Петух!»), который по поводу русских народных песен и «Прибауток» Стравинского великолепно говорит о «таинственной, патетической и священной абсурдности русского существа».

Нелегко выдержать: спасет не смех, а улыбка. Колечиками проносится над кровавой, в марлях тумана землей.

И снова приходит на ум «философия имени», а от имени напрямик — к «личности» к лицу. Ты читала, и все читали «Заячий ремиз», а вот обратила ли ты внимание на эпиграф, без промаха выбранный Лесковым у Сквороды? Длинно, а перепишу, до чего чисто сказано: «Встань, если хочишь, на ровном месте и вели поставишь вокруг себя сотню зеркал. В то время увидишь, что един твой телесный болван владеет сотнею видов, а как только зеркала отнять, все копии сокрываются. Однако же телесный наш болван и сам есть едина токмо тень истинного человека. Сия тварь, будто обезьяна, образует лицевидным деянием невидимую и присносущную силу и божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зерцаловидные тени».

Как раскручивается пружина — не «миру повинному» в лоб, не его «рылам» и «харям», а самому человеку (брезжит наша непереводаемая *совесть*)! Вся русская литература (Аввакум — «литература»? или *промокший от слез* Пастернак?) — как на голой ладони. Не христианнейшую отсылку к Адаму тут отмечаю и даже не явное эхо патристики, а хохлацкую бесподобную улыбку, с жестокостью отмечающую (и к себе обращается) «болвана» Григория Сквороды ради того самого лица, которое этой улыбкой засвидетельствовано.

Улыбка *почти* без лица... но лицо *без* улыбки? Вот что нам кажется куда более несуразным.

Потому-то: «Если бы я сотворял людей, — говорит Толстой, — я сотворил бы их старыми, чтобы они постепенно становились детьми». А внуку своему Илюшку: «Ты знаешь, как меня звали, когда я был маленький? Левка-Пузырь».

Дети у Достоевского в «Подростке», у Некрасова порой (когда не «тычет» ими для обличения), а еще лучше, в самых *детских* (их голосом) сти-

хотворениях Фета... всего не упомянешь, не назовешь... эта нота! Даже у обугленного сызмальства Лермонтова:

*Летают сны-мучители
Над бедными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.*

Именно такую, самую невольную и невысказанную улыбку пытаюсь разглядеть. Не забуду ни Гюго, ни Андерсена, ни, тем паче, Диккенса и не менее его полюбившегося в России Гофмана (хотя подлинно детских страниц совсем у него немного). Пovyползали, позаполонили дети в XIX веке литературу. Тут тебе и новый миф: *поэт-дитя*... все это во спасение (если не алиби) от грузного и задастого, денежного и законнического миропорядка. Только нечасто расслышим мы в противопоставлении *слова миру* верную ноту. И, оглядываясь на литературу нашу, на русское безумолчное говорение, на слово неумное, которое все еще яблочком «котится» и водит письменной рукой, пора наконец признать, что это и не литература вовсе, а так, поневоле, одно название, из Европы для удобства занесенное.

Но и в Европе еще нужно «разобраться». И русский, и европейский (?) юмор не связывать непременно с улыбкой. «Разобраться» порядком в Европе... взгляни-ка на Францию: литература в этом столетии посерьезнела до неприличия. Что за унылая вереница *почтенных фигур* («хвыгуры»), Нобелевских (так видят извне), да и прочих: Роллан, Мартен дю Гар, Жид, Мориак, Монтерлан, Сартр, Мальро, Камю... разное «качество» и «уровень» разный... а рот сводит зевотой! (Такова и германская глыба вспять опрокинутого Томаса Манна, и мозговая — ничего не добавит «Гиппопотам» — консистенция Элиота.) Пруста оставим в покое: почтенность ему не грозит, а улыбка без смеха, поверх эротических «пружин» и «нутра» (не обрат ли Стендаль?), сверкает издали розой в петлице... Зато Мальро помянул не случайно: что такое его лихорадка по сравнению с испепеляющей непримиримостью Бернаноса?.. и все та же «давящая атмосфера». Порхающий (от мысли к мысли), иронически равнодушный (кто насквозь разгадал?) к своему именному *мундиру*, Валери залетел сюда, кажется, со странички Монтекье (Дидро?). Лучше всех понял его *неуместность* среди «идолов крови, земли и страсти» литературнейше-скептический Борхес. Странноватый, право, Кандид: ему недостаточно увидеть мир заново, надо еще, как ребенок игрушку, разобрать каждую малость — других в дураках не оставить, а главное, самому одураченным не остаться. Разберет — и смеется тишком:

«Ангел изумлялся, слушая человеческий смех.

Ему объяснили, как могли, что это такое.

Тогда он спросил, почему люди не смеются *всему* и всегда или же не обходятся *вовсе* без смеха.

«Ибо, — сказал он, — насколько я понял, нужно смеяться всему либо ничему не смеяться».

Ангелу смех неприличен. А скептическая улыбка? Субъективно-защитная, недоверчивая, «противостоящая»? В такой не *растаешь* заодно с миром и крыльев не обретешь.

Не о «ценностях» речь. Что там, в конечном счете, литературные ценности? Иной ищем язык, где нет иерархии.

Строгий, сумрачный, целомудренный Реверди улыбнется вдруг виновато... погас! То же самое (элегически) Аполлинер... а ведь сколько перепробовал — и нашел — интонаций! В своем порнографическом романе он пытается смешить без удержу... скука смертная, усыпительный бред! У Сандра, Колетт, Кокто, Жироду, Жуандо (разношерстный перечень можно

продолжить) находят комическое, забавное, уморительное, гротескное... но улыбка лишь снится! Кто принимает всерьез клоунаду Жакоба (в лагере я оценил — и не каюсь)? С.-Ж. Перс, отсверкав с молодых лет игральными блесками, вскоре деревенеет в позе языческого истукана. Ни Пиндар, ни Толстой повторений не терпят. Давно пора зарубить на носу... Простору бы! Но как их всех давит!.. Клодель в своем имени не усумнится — а жаль: какой бы улыбкой в трещинку вспыхнул раскатный булженик изпод колес! Только угадываем... Чуть призрачней — в меланхолических спазах у Жува, когда они складываются по-китайски в жест сухой стариковской ладони, глядящей воздух и ткань. Сюрреалисты? Ну, похулиганили, вышибли окна, напереворачивали вверх дном... но куда занесло их с первых шагов, в какую недетскую, трезвенную одержимость! (Где у них *впуклое*?) Вряд ли признал бы Аполлинер: не такие мерещились ему младшие братья! С безошибочным вкусом (!), церемонный и в бесцеремонностях Андре Бретон наконец приобщился к улыбке своей «Антологией черного юмора». Каша изрядная. *Светлый, черный*... давно уже не разобрать из Москвы «с окрестностями». Одно ясно: неумолимый и столь одинокий Бретон «приобщился» декларативно и... поневоле, сочтав на обложке свое имя с юмором (улыбкой? усмешкой? праздное вопрошательство). Увы, давно промелькнул дадаизм...

Не меняются и не противоречат себе только отпетые дураки. Такова расхожая и, в известных пределах, справедливая мудрость. Но я предпочитаю угрюмого бедного рыцаря-однодума с открытым забралом (ты догадаешься, кого *у нас* вспомнил) тем беспамятным попрыгунчикам, которые всякий раз, напяливая очередную маску «по принадлежности», ставят на ней эмблемой свое неизменное, заглавными буквами, имя. Приглядишься к однодуму, к бедному рыцарю... вчитывайся до озноба... не шелохнулся ли складками воздух? Нет ли в нем наилегчайшей, краешком облачка, *смены температур*? Если дрогнул и камень, если чуть — в «лицевидном деянии» — шевельнул уголками губ, тут такой простор открывается и такая летучая зазеркальная гладь, что в них, как сказано Гоголем, «не успевает означиться пропадающий предмет». Именно это *распредмечивание*, когда и глыба растает, а не хиханьки с хаханьками, в которых ничто не претворено... даже не «красный смех», которому не подняться над *смертью позорной*, над *хохотом облаков*...

Так что, наверное, не у Селина (утомительны всплески *замкнутого* существа; ни взорваться, ни распахнуться и под пулеметными восклицаниями) найдем мы искомое и в иных краях встреченное. Нет, других отщепенцев (сюрреализма и всяческих «измов» литературы), у *непечатных*, «догутенбергских» (неповинны в *собраниях сочинений*) Арто, Батая, еще двух-трех мы обожженным зрачком настаиваем улыбку без имени, которая Сковороде сродни. Не разобрался я с первого взгляда... За бритвой и хохотом прозевал ту минуту, когда, как сказал бы француз, ангел (колечиком?) пролетел. Когда, полоснув весь свет (и себя заодно) *до последней кости*, обыдиотев перед очередным взмахом, в пригложшем пламени коченет Арто и слушает себе настойчивый («от бога к ангелам и от человека к творению»), единственно нужный вопрос:

Зачем ты здесь, Антонен Арто?

Да, зачем ты здесь? Ты нам мешаешь.

Невольной... сквозь боль и вызов... и к черту «литературу»! Невольно, как умеет лишь голос (без вокальных связок!): сокровеннейший братец русскому, от Аввакума до ремизовского «о судьбе огненной». Страшен голос! Незримым огнем пожирает, распредмечивает пространство, сам себя ест и рвет в клочья; ни лица, ни марева мира, где ж остановится? Разве и вовсе нет у голоса тела?

Если нельзя не признать безошибочным сравнение Морисом Бланшо «одержимости» Арто со страхом стихией пламени у Бёме, то не следует и забывать, что огонь Бёме — лишь одна из стихий и что называет он его *темным*. И если Бланшо уточняет, что и в последние, самые истребительные десять лет жизни Арто, «отданный в жертву духу огня, никогда не жертвует вечностью свету духа», мне два эти *духа* видятся не в сочетании, а, строго по Бёме, в энергетической стычке и динамике, ведущей к невыразимому, безмянному «совпадению противоположностей»: неиссякаемая, упорная влага умиротворяет пыл-ярость огня, свирепая боль, когда в своей сухости они до того непереносимы, что переносятся на весь злобный, враждебный мир, оборачиваясь столь же свирепой жалостью. Понимание требуется буквальное: не *дух*, а живая *стихия* (доверять лицу!). Когда пламя в Арто (кто в нем не пылал?) на миг становится светом, тут и вспыхивает невольнейшая улыбка. Какой холод и какое зияние! Не пространство — простор! А постороннему взгляду — посторонний и сам! — наяву видится «минута усталости».

Без конца Арто повторяет, что сказать ему нечего, что «владеть» и «орудовать» словом наихудшее свинство, что «сказать» вообще не существует, потому что нет ни «вне», ни «внутри», ничего, кроме тела, видимого и без глаз... а захлебывается, кричит без конца, без умолку. Больно!

Кириллов (из «Бесов») мог бы его понять и, кто знает, Вася Чайкин.

«Камень, — пишет он, — свободнее глаза».

Как же тут не вспомнить Рембо, как не изумиться навязшему в зубы противопоставлению восторженного юнца, для которого: «Ложно говорить: Я думаю. Нужно бы говорить: Меня думает», — и, после двухлетнего нещадного (в себе, вокруг: пускай мир сторгит!) пользования, угрюмейшего «мужика», который «разучился говорить»? Никогда не умел он ни думать, ни говорить, то бишь «орудовать» словом. Не научился и в Эфиопии. Рассуждают так, словно бы «литература» однажды раз и навсегда приковала к себе Рембо и вообще должна почитаться некой точкой отсчета. Перегоревший, настолько обугленный камень, *удаляется* он по простой причине (сам сказал Делаэ): «Теперь климат Европы слишком холоден для моего темперамента... который изменился... Жить могу я лишь в теплых странах». Был камень горяч, стал камень морозен. Мир сожрал? Нет, от себя не отрекся, слюней не пускал и поэзию по праву начисто позабыл. Зачем же туры разводить на колесах? Потому, должно быть, и остался верен себя, что пламя его не покинуло вовсе и, час пришел, доконало поволчьи. «Посторонним — не беспокоить!»

Долг путь от «Как можно быть персом?» до «Я — это другой», но и разная степень самоустранения покрывается той же улыбкой. Вот этой (совсем по-нищевски):

«От колокольни к другой натянул я канаты; гирлянды — от окна к окну; золотую цепь — от звезды до звезды; и танцую».

Вот что умеет раскаленный камень! Пляска, ежели *от души*, по-детски «топ-топ» или «ширь да удаль», не обходится без той *интимности*, которую на слух уловил (а точнее сказать, пощупал кончиками пальцев) Розанов у евреев и русских. Только упрятана задущевность Рембо на самое дно (один раз вырывается в письме Верлену), где тайное сердце узлом скрыто от любопытных. На всем протяжении жизни, даже за самыми беспардонными выходками, хранит он в себе, того и не подозревая, такую стыдливую — за «плотинами» — целомудренность влаги, что, если бы не стихийно противоборствующие, могла б она, брызнув, окропить целый мир. Он-то, каменный, сухой и жесткий, кто не знает (кому улыбнуться?), «что значит дружба» и с чем ее кушают. Верно ли? Не по причине ли мучительнейшей, выпавшей ему в удел требовательности... что дружба без люб-

ви? и что за любовь в *тесном Эдеме* (примерно сказал Киркегор)? Рай преображенного, сквозь марево, мира ему нужен тотчас, сию минуту — да такой подавай, чтобы все *олюбить* (осеменить?): «с мыса к мысу, от буйного полюса к замку, из толпы к взморью, от взгляда ко взгляду, почти без сил и без чувств...» В эту-то сторону, от меланхолии, и уводит нас Крапах... ее-то пытался я разглядеть в искре (а влажен взгляд!) у приплясывающих хасидов...

Кто не увидел улыбки в «Гении» — нетерпеливой, доверчивой, открытой и жаждущей, — пусть тот и не касается поистине страшных писем из Абиссинии.

«Гнев» и «гордость», наркотики, «тайные общества», растление и сексуальные «вывороты»... какое дело нам до поднаготных *пружин*? Отчасти (чего не насочиняли!) готов согласиться — только бы вместо легенды не мусорный холм, только бы в целости (не «в совокупности») сохранилось лицо, которому доверять.

Сам просит: «...С одним лишь вашим доверием уже буду счастлив». Что же — не осчастливим?

Аввакум полыхающий — в ледяной яме... Русский с его *климатическим* температуром шкурой почувствует неслыханный диапазон температур у Рембо. Не для «тепленьких»: Достоевский, пожалуй, мог бы подписаться... а в тепле переливчатый, мягонький, подчас истекающий улыбкой Розанов? Но душа многолика, а сердце — одно; по-разному совокупляются в огне и в холоде, на горах и в долине, под давлением тысячи атмосфер или купаюсь в растворах воздуха.

*Твердое, жесткое ведут к смерти;
Мягкое, слабое ведут к жизни.*

Не так прост Лао-цзы, как представляется на первый ошеломленный взгляд. Знает он и гибкую беглость стариковских морщин, и младенческие мягкие впалости, и, разумеется, *небесную* пустоту, безвозвратно веющую в улыбке. (Что ему время жизни, зрелость, греческое *акмэ*? Не полноты ищет мудрый, а святости понимания.) И зная тоже, на тысячи ладов твердя, что «самое слабое и мягкое» (повсюду — вода!) одолевает непременно «самое жесткое и неподатливое», рекомендует, однако, человеку «возлюбить свое тело ради мира», боли и одоления. «Принявший все бедствия царства становится господином вселенной».

Я не намерен, конечно, соревноваться со знатоками, с теми, кто век за веком вчитывается в «Дао де-цзин». И тем более поостерегусь опрометчиво сопоставлять его с западной мистикой. Но бросающееся в глаза отмечу, потому что недаром и мы, грешные, удостоились чести «первооткрытия», где видятся нам не только извечное, по-китайски, чередование антагонизмов и не один абсолютный космологический релятивизм... в этом начало, «исходное»... ну, а дальше? И без магии, сквозь натурализм, эта премудрость обращена к человеку: в мире и с миром заодно. И если *ни разу* не поминается тут огонь, если «озарение» статично и созерцательно («узнать постоянное»), то, что ни говори, энергетическое соотношение «жесткого» и «мягкого» (от человека до самой пустоты) поражает сходством с «Авророй» Бёме.

Не прибегаю к терминам философии («субстанция», «модус»; «бытие» и «бытующее»... оставим наименования!), давай попросту вспомним, что и Кафка, и Пушкин, и несть им числа *бесплодное*, а точнее, «предтворческое» свое мучительное состояние определяют одновременно — строго, без «литературы» и самоуничужения — как никчемное, пустое и каменное... далеко ли тут до «зияющей обширности» сердца, которая водит рукой китайца-художника, подвижной «духом» даосов? И далеко, и близко: всего один

миг, одна «смена температур». Такая-то у Рембо, такая-то у Розанова. Гляди в оба, лови минуту! И тот не скала, и этот не тряпка. Кому сердце дано костром брызжущим, кому — перламутровая, на тысячу клавиш, душа. Но больше отвлеченностей: человек не квадрат, да и квадрат, как известно, не вполне квадратен. «Последние бабочки» просят пить у Рембо, а Розанов ищет у бабочки «имя-фамилию» гусеницы. Так что не стоит торопиться с выводами о крошечном *бесчувствии* или безвыходном *психологизме*. Разрыв этот переживается нами в истории чрезвычайно болезненно... кто же спорит? Только не надо валить на «историю», безглазого идола с компасом и линейкой. Как не позволим ни Гитлеру, ни ностальгическим судьям (и беспамятливым почитателям... одно и то же!) присвоить Ницше, так и тут: вчитываясь — вслушиваемся, а вслушиваясь — вглядываемся... и доверяем улыбке лица. В ней-то проваливается история! Две «стихии», два «духа», два «стремени» — от жесткого к мягкому и от мягкого к жесткому — на миг соединяются в общем лице; в нем и смертельный «мир», и «натура» людская, и *amor fati*, и *horror fati*, но *не принадлежит* оно никому и ничему. Сколько завещано Востоком и Западом наименований этой вечной игры! Беда наихудшая, катастрофа бесплоднейшая — знали задолго до Сведенборга и Блейка — приходят, когда в нас разлучены и не сочетаются *браком* «вещая душа» и «сердце, полное тревоги».

Про этот хаос («пра-родимый»? так прочел бы по праву Крученых) и воет, стеная, и поет *ветр ночной* Тютчеву. О нем, где все рождается в безликих корчах, чтобы предстать в свете дня «улыбкою двусмысленной и тайной» природы, не ведающей «былова». У кого пронзительнее, чем у Тютчева, чувство вселенского марева? Но у кого изобильней, насыщенней, «единственно-реальной» вспыхивающая *меж двух миров* улыбка: будь то от «переизбытка жизни» (огонь, блеск, свет) или же, самая невольная, праведная и свободная, — в последний раз, с «возвышенной стыдливостью страданья»? Минутами кажется, что она-то и есть освежающая катастрофа в «круге бытия», бездна, попирающая бездну...

Так виделось до смерти Денисьевой; потом — окончательно: «Природа — сфинкс... померкло. Помня любимейшее мое «Вот бреду я вдоль большой дороги...», воздержусь от ненужных, обжигающих губы слов. Тютчев в литературу так и не вписался.

Но поэзия русская ничего подобного больше не слыхивала. Ни вообще русское письменное слово. Даже «над бездной», в так называемый «серебряный век» (какому чурбану обязано это позднее затхло-профессорское обозначение?)... от Соловьева до Сологуба, Анненского и Блока — давит каменно-петербургский Сфинкс передоновской массой! И чувство стертости слова имелось, и потребность ее одолеть поверх слов, и подчас юмор желчный, самоуничтожительный, и даже робкая и стыдливая (нет дороже, по Тютчеву), а скорее, какая-то виноватая улыбка, но всего отчетливей слышится — пока бездна не распахнулась как следует — тютчевское же несравненное: «Мужайся, сердце, до конца...» Нет, и в России надо еще разобраться, поменьше тыкать учительски пальцем. В своем окружении Розанов — птица редчайшая. Тоже бывает весьма ядовитой, но лишь на поверхности... пена, отходы... А вокруг — сколько яду и злости! «Теории» не от мира сего, засилье «литературы», а в унисон им — усмешечки, шуточки, хаханьки, фарс и гротеск... угрюмы и в смехе... даже Ремизов по-настоящему ожил, лишь когда почувствовал на своем горле хватку палаческих лап:

...Взойду я на гору, обращусь лицом к востоку — огонь!
стану на запад — огонь!
посмотрю на север — горит!
и на юге — горит!
припаду я к земле — жжет!

И, обжегшись, заулыбался, а улыбнувшись, прочистил глотку, а прочистив глотку, *закукарекал петухом* и напел нам таких уморительных снов, какие не снились России со времен Гоголя. Их игровой механизм я тебе в этом письме попытался обрисовать; повторяться не буду. Только у Ремизова ход особенный: не имена-клички пустотелым бумажным «героям» (читать надо: в театре контраст приглушен), а самые настоящие, самые «по имени, отчеству и фамилии»... почтенные авторы, художники, философы, общественные и политические деятели, знакомцы, соседи, родственники... и что от них «в куче» остается? В такое времечко угодили, такие безобразия выдвывают, что спадает с них «под сенью имен» всяческое облачение... безобразия же оказываются вполне *естественными отправлениями* голого человека, в которых уравниваются запросто Петр Великий, Тая Токурсконова, Спиноза и неандерталец. Прямым ходом отсюда — непотребные «рассказы» о Пушкине и недавняя волна анекдотов про Василия Ивановича Чапаева. Этот хохот — с улыбкой. А вот у ремизовского приятеля Андрея Белого (Бугаевым быть несладко, но экий, право, псевдоним придумал!.. не посмеялся ли над собой «гоголек?»), хотя — от «Симфоний» до Аполлона Аполлоновича Аблеухова, даже Котика Летаева и особенно Тарелкина с компаниями — механизм, казалось бы, почти тот же самый, а *масса* давит и перевешивает; марево слишком марево, чересчур погностически... и смешок ползет вкривь и вкось, багровеет, лицо искажается сардонически, надрывна и самоирония... только в слове (а не *поверх*), когда заплещет оно гопака (а не *менуэт*), распахивается улыбка без удержу. У кого эта пляска самозабвенней? Чистое — с юности — «золото в лазури»! Мудрствующий декадент? Симболист? Да нет, просто *котик*, летающий с песней по-простонародному...

Ничего, что Толстой в нем расслышал лишь «бред сумасшедших», напрасно пытаясь понять, «чего они хотят» (т.е. Белый и прочие «Сологубы»). Отлично ведь угадал: «Старая манера: “Была прекрасная ночь” — уже не годится. Пережиток. Происходит искание новой». И если бы новую сквозь шелуху на слух уловил (этическим не поступаюсь), непременно бы согласился, что и тут «не литература вовсе, а так, для удобства, одно название»: обнаженная временем интонация голоса, прямо какое-то — наяву! — «коллективное бессознательное». Возражая Черткову, — мол, писал он, Толстой, тоже и «для народа», и сказки его «народ вполне понимает», — находит Толстой слова, которые (и без прежних иллюзий) повторили бы многие из нас, пропадущих: «Нет, только то, что от народа взял — сказки — и возвратил ему... На Западе интеллигенция посмеивается над народом, презирает его речь; у нас — мы учимся речи у народа (посредством речи проявляется народ). Я из народа; полагаю, что я из народа; старался для него, в его духе писать».

Вот тебе и русская совестливая, по сырým просторам, веками тишина, и одержимость русская, вплоть до шаманства, земляной сокровенной правдой неугомонного на устах языка. Ближе к туманному Юнгу, чем к точному скальпелю Фрейда. Ибо иные нам снятся сны, и нет нужды прибегать к открывению «автоматического письма»: оно движет пером и Пушкина, и Толстого, и Хлебникова. Не всево-*русское*, не мертвецки-глухой натужный «фольклор», а внешнеобразительный (даже в образе) *корневой мотив*, ритмический и пространственный, *ни вне, ни внутри*, который и без костюмерной ожил заново не только у Белого, Ремизова, у бессюжетного Пастернака и беспредметных будетлян, но и в живописи (не нужно ей искать «варваров» на стороне): у Ларионова, Розановой, Гончаровой, у мужицкого, вплоть до крестов и квадратов, Малевича, у Филонова в калейдоскопических идолах... и в музыке: у Стравинского в дягилевский (и чуть позже) период... вот где, за несколько считанных лет, расцвел из прошло-

го во спасение будущим улыбочный язык немоты! Не это ли «вечное возвращение»? Не для того ли, чтобы всякая поименная жизнь встряхнулась в опасности, стало игрой и риском то, что заживо каменело недавно двумя противостоящими *массами*? Неисповедимы пути, на которых Толстой встречается с Ницше. Или Тютчев: «Мужайся, сердце, до конца...», может быть (было!), прочтено вполне по-нищевски. Пережитое на этих путях легендарное не нуждается в оправданиях задним числом. У него есть лицо — и достаточно! Вася Чайкин «преододел» Витгенштейна. Он весь за последней фразой «Логико-философского трактата». Потому-то, должно быть, и не было на Руси философов. Мыслителей, и самых дерзких, — хоть отбавляй, а философов, в строгом значении, — ни одного. За ненадобностью. А жаль! Передохнуть бы... Но зовет голос...

Вот голоса-то и не хватило Крученыху, и не понял он, что только в голосе самовитое слово становится миром (по-русски: *всем миром*, т.е. сообщая). Вспомнил слова Крученыха, потому что попался мне на глаза прелюбопытный его пасквиль 1919 года, где по-змеиному «выпытывает» он недавнего друга Хлебникова и набрасывается ядовитыми стрелами на его улыбку. Называется: «Азеф-Иуда-Хлебников»... если бы не покорило это заглавие над очевиднейшим актом предательства, то и тогда нам, знающим кое-какие «тайные пороки» Крученыха, станет не по себе.

Чем же «плоха», чем «злокозненна» хлебниковская улыбка? Колдовская: и сахарна, и слюнява; всюду «ю» (а Вася Каменский?) — «люблю» и «Лиллю» (Лилит); истекает улыбка постелью; влага ее — как у Тютчева — «анальное болото»; а в этой улыбочной влаге, «отсюсюкав» и «поцелуем предав», топит Хлебников «китайской пыткой» сжук всех и каждого: поневоле, «от своей неудачливости» (в любви?), носитель «самой подлой смерти».

Умно? Как сказать... наблюдательно по-змеиному. Но скукой разит (то-то *выдал* себя заголовком) именно от такой премудрости с ее «разгадочной» терминологией. Клеймящий «Фрейдом» от «Фрейда» скукожится. Уже писал: что за дело мне до ярлыков? Оральное, анальное... назвать механизм возможно, описать — отчасти, но вынести ценностное суждение — по какому праву? Любовь, жизнь и смерть, даже влага и даже «сверкающее» — всё, казалось бы, верно подмечено, всё на месте. А в результате — прозрачно насквозь — претит Крученыху не то или это в улыбке, а сама она, ни к чему не сводимая без поднаготной и тайных «пружин». Что ж, это — личное его дело...

Не забывает он и лица — но сколько яду! и какой плоский физиологизм! Суди сама:

«А вы видели Хлебникова живого?»

Сумрачнее этого не бывает, и медленно шагает высокий крепко сшитый человек в длинном сюртуке, а голова устало повисла на грудь, и виден только гигантский высокий лоб с вертикальной морщиной; подойдя ближе, вы рассмотрите ближе и свежие детские глаза, неизвестно куда смотрящие, а потом бесполезную улыбку отвислых губ.

Заглянув в рот, заметите острые черные зубы.

Могилой зияет его рот».

«Талантливо»? Да, Круч. талантами не обделен, слух же редкостный, нецененный. Только слышит-то — что? И о каком он «лице» тут толкует? О безголосом, о «личности», облике внешнем и «болване» зеркальном. Так порою подходят и к *тексту* наукообразные читатели. Не в том даже дело, что знаем мы и другие портреты Хлебникова, где рот его закрыт сухо и наглухо, не могила тая, а готовность к самой серьезной игре. Но и увиденное «Алешей Крученыхом» — не свидетельствует ли о том, что лицо — пограничье, на котором мир внутренний и мир внешний вступают в слож-

нейшее взаимодействие, сливаясь клубком, разливаясь улыбкой, порхающей из «ни вне, ни внутри» на вольный простор жизни-смерти, где «не успеваешь означиться пропадающий предмет»? В этой улыбке не слово, а голос. Таким видится слышимое лицо в своей цельности: не только — на выбор — у Велимира, Шопена, Гуро, Стерна, Зоценко или Ван Гога (жесток мир, да влажна душа, сердце огненно, в извилинах мягок мозг: у всех поразному, и на все лады одолевается — если... — смертная твердость данного облика), — нет, не только у человека (рот, глаза, переносица, каждая мышца, лишь бы дрогнуть личине, не остекленеть), но и у всякой на свете малости, у такой-то былинки, паршивого листика, у этой вот пчелки над этим соцветьем на этом лугу.

Нет, почему же от текста не обратиться к лицу? *Текст по спирали...* Крученых в принципе не ошибся. Но не разглядел он целого (не могильного, а живого) за перечнем паразитических в сочетании противоположностей. «Чем совершенней создание, — говорит в «Мифологии» Гете, — тем несходственней становятся его части... Соподчиненность частей выявляет создание совершенное». В чем же эта соподчиненность и как она выявляется? Не подскажет орфизм, ни его романтические отголоски. Мне кажется, я им несколько не следую, когда вижу лицо у травинки и у Велимира; лицо *бессловесно*, а выявляется цельно в общем голосе и общей улыбке. Язык тишины. Так понимается и словотворчество самим Хлебниковым: оно «есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка».

Вот этого-то голосового начала и не расслышал Крученых. Остановившись на *самовитом* слове, он странным образом выбирает для цитирования лишь исходные, более или менее заумные фрагменты Велимира. (Правда, пасквиль его был написан, по-видимому, еще в 1917 году; оправдываясь перед Матюшиным, он именует свой «выпыт» прославлением, ни больше ни меньше!) Но по отдельным, даже распахивающимся словам о голосе (и улыбке лица) судить невозможно. А ведь такого надвременного, сквозь-исторического простора поэзия русская не знавала со времен Пушкина и Гоголя. Распредмечивание? Несомненно; для этого надо понять, что такое «глухонемые пласты языка». Но распредмечивание не *фонетически*, не через игру *корнесловия* (это лишь первый шаг — только сдвиг), а чтобы в складывающемся самовито едином словесном пространстве-времени всё, сквозь века и страны (забыв о веках и странах), голосом *олюбить* и совместно *растать*. Ничего нет более чуждого Хлебникову, чем «орудовать словом». Не там надо искать — и не в декларативно-заумных игровых операциях с «любовью» и «смехом». Пусть этим занимаются Васи Брюсовы и Корней Чуковские. Это у Хлебникова ли слюна? Имел ведь возможность Крученых прочесть в «Изборнике» (год 1914!) и, того раньше, в «Дожлой луне»:

*Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.*

(Степановская орфография лжет, но и в первоизданиях не лучше.) Ничего суше, строже, улыбчивей этих строк не было и нет. Да и не разглядел Крученых в «сумрачности» Велимира того огня, который пожаром разгорелся в «Ночном обыске», а через семь месяцев сожрал его в крошечной дыре, без эха и лишнего слов.

Влага, вода у Тютчева? Но никто о нем (старик!) лучше не сказал, чем друг его И.С. Аксаков: «Это был пламень, мгновенно пожиривший всякое встречавшееся ему и им самим творимое явление мысли и непрерывно сам из себя возгоравший». Как же без влаги не перегореть в полминуты? Не

«части» (по Гете), а «стихии» (по Бёме): нелегко уловить в человеке, которого они буквально рвут на куски, их динамическое, подвижное, взаимозаменяемое соподчинение. Не будь «сумрачного» огня и влаги «свежих детских глаз», не было бы и «бесплезной» (для кого? только не для Велимира) улыбки. Сам себе улыбается... по сей день в идиоты записывают... а ведь это в нем слово безумное (с кем еще сравнить?) заговаривается ровным тихим огнем, когда бесконечное, вечно незавершенное... «наброски», «обрывки» — лишь на бумаге, а внутри оно целостно *есть*, «без «объекта», «субъекта»; таким — «переизбыток жизни» — оно *существует* в «таинственной, патетической и священной абсурдности» (несуветности?) хлебниковского естества и потому улыбается само по себе. Никакого сюсюканья, никакого слонтяйства... но и ни малейшего (поверх речевого потока, его словосмысла) «замирного воспарения». Далек он равно и от платоновского *божественного безумия*, и от неоплатонистского *безумия вдохновенного*. Когда время принялось совершать — не нуждаясь в руках Мандельштама с собратьями — «огромный неуклюжий, скрипучий поворот руля», Велимир писал книгу о «человеководстве» и располагался в столетиях «удобно, как в качалке», ибо настала пора для самой рискованной и серьезной игры:

«Конечно, многие из вас дружат с игровой колодой, некоторые даже бредят во сне всеми этими семерками, червонными девами, тузами. Но случалось ли вам играть не с предметным лицом, каким-нибудь Иваном Ивановичем, а с собирательным — хотя бы мировой волей? А я играл, и игра эта мне знакома. Я считаю ее более увлекательной той, знаки достоинства которой — свечи, мелок, зеленое сукно, полночь. Я должен сказать, что в выборе ходов вы ничем не ограничены. Если бы игра требовала и это было в ваших силах, вы бы могли, пожалуй, стереть мокрой губкой с черного неба все его созвездия, как с училищной доски задачу. Но каждый игрок должен своим ходом свести на нет положение противника.

Несмотря на свою мировую природу, ваш противник ощущается вами как равный, игра происходит на началах взаимного уважения, и не в этом ли ее прелесть? Вам кажется, что это знакомый и вы более увлечены игрой, чем если бы с вами играл гробовой призрак...»

Игра истребления и созидания, в которой все живо, мертвого нет: не такая ли виделась Ницше? Распредмечивание, вплоть до *созвездий черного неба*: не тут ли разгадка «бесплезной» улыбки Хлебникова?

«Ка» написано было в 1915 году. Над распахнутой пропастью, куда суждено было рухнуть не только России, не только «железному» веку, но, быть может, и всей злополучной «истории», Хлебников носится со своим «наперсником в забаве» по любым временным направлениям: время замерло и остановилось, хотя безвременьем не пахнет отнюдь... Вспомни: «улыбке-то спешить некуда». А еще лучше: «Счастлив, кто поселил сей мир / В его минуты роковые...» Что же делает этот счастливец? Сидит, призванный, на пиру «всеблагих», проводя с ними время (время?) в беседе...

Хлебников поспел в самый срок и правила «игры» сформулировал с первым шагом: «И если человечество все еще зелено, трава, но не цвет на таинственном стебле, то можно ли говорить, пророка, о осени, желтыми листьями отрываясь от сил бесконечного? Или же, слыша песнь, следует посмотреть на небо, не жаворонок ли первый? И даже мертвое или кажущееся таким не должно ли прозреть связь с бесконечным в эти дни?» Но когда загудело воюю и такая пошла переключка — от живых к мертвым, — мертвых к живым, вместе, не разобрать, — Велимирово «дерево бесконечности» окунулось корнями в пять изначальных прародительских рек и прошумело почти без слов, на одном дыхании голоса: «Лю-блю-весь-мир-я». Поэтический идиотизм (в смысле этимологическом)? Блаженная (то-

же не без этимологии) утопия? Но какое нетерпеливое желание и муравьиное упорство! Голод, резня, истребление, в которых ему самому досталось более чем сполна, видятся неизбежной прелюдией... место «расшищено» (как «ситуация» в лингвистической философии), пришла пора зарождения... можно, стало быть, не только взрывать словарь в беспредельность (словотворчество «по законам языка»), ни одной малости речью не минуя, но и позволить всем малостям, без различения живого и мертвого, вступить в радостное общение, сведя слово к звуковым первоэлементам на «пути к мировому заумному языку» («Только он может соединить людей. Умные языки уже разъединяют»). Но есть нечто выше и такого общения — язык «звездный» судьбы и мировой воли: «Понять волю звезд, это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной ночью, эти доски грядущих законов, и не в том ли состоит путь деления, чтобы избавиться от проволочки правительств между вечными звездами и слухом человечества? Пусть власть звезд будет беспроволочной».

Признаюсь честно, что перечитывать декларативно-скандирующий «Ладомир» (который некогда пробирал до прожилок) стало занятием нелегким и тягостным. Фонологические наивности Хлебникова (не он первый, не он и последний) воспринимаются теперь едва ли более диковинно, чем его вычислительная дотошность. А ведь и порознь, и особенно в сочетании они отнюдь не «пустой звук» доверчивого младенца. Это пережито голосом и о голосе пророчит. А в голосе — что? Кто желает «звездам тыкать», лишь тот умеет им улыбаться. Но с печалью *возвращаешься на землю*, вспоминая, что единственный «мировой язык», разработанный нынешним человеком, это самый безголовый и безулыбочный, «умный» и «формализованный» язык науки... и, быть может, всеобщей погибели. В своей нетерпеливой тяге к наукообразию двусмысленна и утопия Хлебникова... Пишет Митуричу: «Я надеюсь отпечатать закон времени и тогда буду свободен». Чего проще?

Не стоит, однако, гоняться за внешним сходством и торопиться с умными заключениями. Не трактат пишу, а письмо «с того берега»; на кой черт мне общие знаменатели? Есть такая порода: *изобретают велосипед*... но не велосипед их объединяет. Это я о себе — тебе; и вполне к месту. Я тоже бывал комментатором и находил «параллели»; да ведь то «на заказ»; в жизни *велосипедной*, ты знаешь, их никогда не искал... вечно брыкался! И тем более так надлежит с другим — с беззащитным, с любимым, с «не умеющим мыться». Пусть он будет, хоть на минуту, для нас «звезда»; тогда мы прислушаемся к предостережению Хлебникова:

*Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне...*

А если прислушаемся, станет вдруг совестно, неуютно и зябко: зачем, право, столько лишних слов наболтали? Не лучше ли просто: увидеть сердцем — и сердцем же промолчать? Погляди-ка — ведь это он сам себя, бессловесного, «отлетевшего», угадал:

*И кто-то бледный и высокий
Стоит с дубровой одинаков.*

Ну, и достаточно, поминаний не требуется. Но промолчать мешают его же слова, к которым, худо ли бедно, подыскивая ответные. То есть не слова сами по себе (живут повторением, не ответами), а застрявшая во мне интонация, непрожитая — «хоть смейся, хоть плачь» — пылинка. Ей поверю; к чему сравнения? Полюбившаяся толкователям несусветная «Книга» Малларме мало имеет общего с вечно пухлым от рукописей живым мешком Хлебникова. И в его «путанице» между живыми и мертвыми («Я

люблю говорить с мертвыми»), и в числах истории, в циклических выкладках нужно видеть не отголосок переселения душ или новую вариацию на тему Н. Федорова, а необходимое голосу чувство *вечного возвращения* и, стало быть, неизменного, стоячего времени. Где его исток и где его вы-ток? Один и тот же неоглядный простор; тот же самый древний русский напев... «поют песни»... без слов и даже без музыки.

Фрагментарность, незаконченность, вариантность... нет, не хочу заковычивать. Разумеется, Хлебников протестовал против небрежности или вольничаний друзей, его публиковавших. Слишком много собралось пустых рассказней насчет его мнимого равнодушия к печатному тексту. Но и не заглядывая в его рукописи, где почти «растительно», как на камне мох, строчки стелются поверх *тулова* (да и тулово едят черви замен и вычерков), и не копаясь в грудях черновиков и набросков (нет подобного по количеству, а главное по равноценному с «завершенным» качеству), утверждать берусь с уверенностью, что в посмертной судьбе Хлебникова, — мало сказать «до Гутенбурга», едва ли не апокрифической, — повинны не друзья, не последующие издатели и даже не двуногое марево, запретившее ему в открытую говорить... все это лишь одна сторона медали; но если к судьбе относиться по-хлебниковски, становится очевидно, что его судьба вполне закономерна и что иной он бы и не пожелал. Что голосу слово? Ведь сам себя ест и рвет в клочья; нет у него тела, а только простор.

Ты, наверное, догадалась, что улыбка и голос для меня одно и то же: как непременно голос «зияет улыбкой», так улыбка — «без слов и даже без музыки» — поет. Огонь, ставший сперва огонечком, а потом вовсе... колечиком-облачком... Пусть непростой, пожирающий заживо; прожить выпавшее надо до дна; только тогда, поняв, улыбнешься.

Упрекающим Хлебникова в «большевистских иллюзиях» ответить следует его *отказом*:

Мне гораздо приятнее
Смотреть на звезды,
Чем подписывать смертный приговор.
Мне гораздо приятнее
Слушать голоса цветов,
Шепчущих «это он!»,
Когда я прохожу по саду,
Чем видеть ружья,
Убивающие тех, кто хочет
Меня убить.
Вот почему я никогда,
Никогда
Не буду правителем!

Как тут опять не вспомнить Толстого: «...славянофилы правы, говоря, что русский человек скорее предпочитает терпеть от властей, чем самому быть участником власти». Сказано в устной беседе и записано Маковицким; сам написать «не посмел»...

Нет, Велимир в оправдательных грамотах не нуждается. Имеющий дело с горючей судьбой, прожигающий голосом марево времени, он ли поддается грошовому манихейству? Если действительно «всё любил», то конечно же без слюны и сюсюканья: сквозь тотально-свирепую — когда час пришел — жалость. Сомневающимся отсылаю без объяснений к тому же «Ночному обыску»; пусть им отрежет *старуха* (еще одна «барышня-смерть»): «Как хотите!»

«Ходу истории» поклоняться негоже, но к «роковой минуте» брезгливы лишь моралистические скопцы.

Ну а если, как считает Крученных, улыбается Хлебников от любовной «неудачливости», тогда высказавшимся «удачником» следует признать маркиза де Сада... да только улыбается ли он? Вот вопрос, над которым стоило бы призадуматься. Говорю не о юморе, которого он отнюдь не лишен. Улыбка — иное. И улыбка не всякая. Жан Полан разглядел ее у него: в день, когда «гражданин-секретарь Брут Сад» выступал перед *Секцией Пик*. На свободе — год с лишним, и нет в нем мести, нет и (сказали бы по-русски) *воли*; эта карающая свобода истории вместе с праведными ее «историями» ему кажется чрезмерно кучей. На лице у него — улыбка *разочарованного свободой*. Пока вновь, навсегда не исчезло лицо в крепостных стенах, вне всякой истории... Только в тюрьме могла изливаться беспримерная ненависть Сада: общений лишённая, но ведь и без нужды в них. Только там он освобождался, не в состоянии вызволиться: и в самом «вселенном», самом «кошунственном» и «преступном» оргазме не развеешь противостоящий предмет. Можно мучить, терзать, убить; *предмет* остается... Он это знал лучше всех. Оргазм невинен!

Улыбка ненависти? Но Сад не Люцифер. Флобер, буквально одержимый Маркизом, ужаснулся однажды: «Ни единого деревца у Сада, ни одного животного». Ненавистью к природе не объяснишь. Ведь прежде всего ненавидимые человек и Бог обозначены всюду именами или же «позами»...

Улыбка вызова? Но бросать его некому. Смерти разве что? Но отнюдь не трус, Сад, по сути, и не отважен, даже в своих иступленнейших, *безумно-логичных* проклятиях. Ничего общего с Дон Жуаном — и барочным, и особенно романтическим. Дон Жуан всякий миг целеустремлен (потому и бесцелен?); не минутой живет он, а предстоящим; пожираемый временем, завоевательной страстью, в своем желании он и сам желанен: мифичен! Ведь и весел, и черт подери, любим! Безразличен к *объекту*? Еще как сказать... Жизнь отдаст за «единственный раз». Гонится лишь за *количеством*? Но у него — пускай «тысяча три» — все-таки *поименные* списки (да и то, по-моцартовски, в устах Лепорелло), а не бесысходно-статическая *числовая* прогрессия, как у Сада (эти бы числа — не хлебниковские «доски судьбы»!). Садизм клиничен, а не мифичен, хотя о злом мире и «несоответствии» человека Сад (извращенный последыш катаров) сказал истину, разделяемую бессловесно миллионами «щепок истории»... В *клиническом* мире остается лишь улыбаться по-идиотски в психолечебницах.

Угрюм ли Сад? И того не скажешь. Какая-то ледяная лава: он столько говорит и столько доказывает, даже (особенно!) в самые жгучие, неподходящие минуты, что, кажется, вознамерился задушить собственный голос в зародыше... молчи, Жюстин, и будь проклята молнией! Какой же голос в крепости, в монастыре, в подземелье? Там укрыто от глаз пыточное — нет доподлиннее! — сладострастие и его истребительный — самый зрячий! — экстаз. Подумать только, что из монастырской «темной ночи» вырываются на простор песнопения св. Хуана от Креста и что из-под толщи гробовой разносится бескрайним эхом «подземный хор» Нерваля: «Когда все дремлет, / Кто чутко внемлет, / Тот цепи рвет!» Разве стены препятствуют распредмечиванию? Не они ли, оставляя полноту слова, уничтожаются голосом для нового отсчета времени? Но чтобы сблыть, надо ослепнуть, потерять «пространственную ориентацию» и всякое различие «чистого» и «нечистого»...

Моралист навыворот, Сад до того одержим *скверной*, что должен был бы казаться революционером из революционеров, если бы с яростью небывалой не отверг наперед любых ностальгических поползновений к насильственной *чистоте*.

Улыбнется ли? Без разочарования... И — отказался раз навсегда — без наркотических и прочих дурманов... На эту загадку нет у меня ответа. Ес-

ли не вовсе недоступен общению, если смолкнет однажды, чтобы прорезаться лицом (и голосом?), то увидим мы не улыбочиво-истребительное индийское божество, а, быть может, раскрашенный и зубасто смеющийся череп ацтеков. Может быть... если мир позабудет свое (твое, мое — наше!) *сидистское* имя.

Понимай, как умеешь. Обрати лишь внимание: и застывший смех улыбаться способен; значит ли это, что «гребень смеха» непременно увенчивается улыбкой? Влага влагой и слеза слезой, но как быть с «самой по себе» багровой сухостью смеха? Как подняться ему до радужной легкости, если в дождичке свое пекло не оросить? «Среди хохота облаков» — точно об этом, хотя вряд ли я сознавал до конца, какую пытаются исчерпать необъятность восемь строчек, навеянных вещицей Клее.

Взгляни-ка на юмористов, и «светлых», и «черных», на всех, кто смешит нас с собою вместе, от Свифта, Сервантеса, Гоголя до «величественных» пьянчуг-старикашек из Достоевского и цирковых гороховых шутов. Кто из них «радужен» и «беззаботен»? Уж не сатирики ли? Праздный вопрос. Один польский гуманист-писатель признается, что, прочитав Щедрина, в ужасе отшатнулся от русской литературы и *ее* действительности (наивная тавтология принадлежит гуманисту; я лишь повторяю). Ему на счастье и в утешение благой нравной натуре, в далекой древности укрыта корнями *действительность* Аристофана, явно не мыслимая без царя Эдипа. Что же касается «праведного» Ювенала или «умеренных» Горация с Буало, вряд ли они рассмешат в нашу пору и самого благой нравного. Нет уж, если Щедрин страшен, если недаром, быть может, его с Гоголем почитывал Сталин, то ничуть не отраднее Аристофан и Петроний — и даже самый что ни на есть европейский «по-современному» Свифт...

(Прерываю: звонит без конца телефон и торопит издатель.)

Париж, 1982—83 (?)